

УДК 167:303

ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ «ДРУГОГО» В ПОЭТИКЕ А.П. ЧЕХОВА

А.Б. Лебедев

Аннотация

Принадлежащий С. Жижеку концепт «synthetic person» используется в качестве методологического ключа в анализе рассказа А.П. Чехова «Хорошие люди», репрезентирующего первые признаки постмодерных изменений в общественном сознании России начала XX века.

Ключевые слова: синтетическая личность, поэтика Чехова, нехватка Другого, идеологический фантазм.

Ты должен видеть позитивность жертвы в ней самой, а не в её целях, – именно это отречение, этот отказ от наслаждения и производит прибавочное, избыточное наслаждение.

С. Жижек
«Возвышенный объект идеологии»

Строго говоря, само название рассказа А.П. Чехова «Хорошие люди» [1] уже содержит некую инверсию, принимаемую за хорошо продуманную и потому поначалу скрытую двусмысленность. Коротенькая история жизни Владимира Семёныча Лядовского, окончившего юридический факультет университета, а затем почувствовавшего себя призванным к литературному труду, изобилует прямыми указаниями на простодушное самозабвение, с которым герой ведёт в малореспектабельной газете еженедельный фельетон. Чеховский текст выстроен так, что не даёт возможности уверенно установить эту двусмысленность. Повествовательные штрихи и детали, употребляемые для характеристики «пишущего», выглядят хоть и отстранённо-ироничными, но вместе с тем выдержанными в терпеливо-спокойном, неосуждающем тоне. «Когда я видел чистенькую, художавую фигурку, большой лоб и длинную гриву, когда вслушивался в его речи, то мне всякий раз казалось, что его писательство, независимо от того, что и как он пишет, свойственно ему органически, как биение сердца, и что ещё во чреве матери в его мозгу сидела наростом вся его программа. Даже в его походке, жестикуляции, в манере сбрасывать с папиросы пепел я читал всю эту программу от а до ижицы, со всей её шумихой, скукой и порядочностью». Вдохновенный вид, с каким Лядовский возлагает венок на похоронах, важная и торжественная процедура сбора подписей для поздравительного адреса, взбудораженные

хлопоты в пользу учащейся молодёжи, пение *Gaudeamus* в пьяном виде на Татьянин день, часто повторяемая сентенция «Что за жизнь без борьбы? Вперёд!» – всё это, говорит Чехов, «очень шло к нему, хотя он ни с кем никогда не боролся и никогда не шёл вперёд». Начало рассказа оставляет впечатление, что речь идёт о поверхностном, даже пустом, но вместе с тем совершенно безвредном графомане, играющем роль просвещённого, интеллигентного человека с искренней страстью и самоуверенностью и оттого заслуживающем звания «хорошего человека», полуснисходительный смысл которого постепенно проясняется по мере того, как читатель убеждается в отсутствии всех атрибутов подлинного литературного профессионализма героя. Затем, как бы мимоходом, становится известно о существовании родной сестры Владимира Семёныча.

Вера Семеновна – по образованию врач. Мучительно пережив смерть мужа от тифа, переболев тифом сама, она, приобретя новые черты замкнутости и болезненной утомлённости, поселяется на неопределённое время на квартире брата, чтобы, как он объясняет, «отдохнуть». Чехов сочувственно и сдержанно-тепло отзывается об атмосфере спокойной любви и уважительной доверительности, в которой общаются одинокие родственники. В равной мере равнодушные к бытовым вопросам, они делают своим совместным предметом проблемы мировоззренческого, главным образом, морально-этического порядка. Метафизическая интрига рассказа начинает разворачиваться на глазах у наблюдателя как-то вдруг, случайно, незаметно и на первых порах создаёт впечатление очередной бури в стакане воды, пристрастие к которым, как уже показал Чехов, питает Лядовский. Когда Вера Семёновна без всяких предварительных логических переходов однажды спрашивает брата: «Володя, что значит непротивление злу?», возникает первоначальное ощущение появления новой абстракции, в своей ложной многозначительности и потому никчёмности удивительно похожей на призывы «бороться» и «идти вперёд», адресованные кому угодно, но только не самому высказывающемуся. В тот ничем не приметный зимний вечер, когда прозвучал упомянутый сакраментальный вопрос, Владимир Семёныч восторгался только что прочитанным рассказом из крестьянской жизни и, находя его отменным, уже собирался писать хвалебную рецензию, нимало не смущаясь тем, что, как вскользь отмечает Чехов, эту деревенскую жизнь он совершенно не знал и не понимал. Сведения, почерпнутые им из книжек и усвоенные понаслышке, не расшифровываются Чеховым намеренно, дабы усилить ощущение их, мягко говоря, неадекватности. Собираясь энергично запечатлеть на бумаге недостоверное отражение сомнительного отражения, Владимир Семёныч, скорее всего, и инициирует вопрос, самым взыскательным образом поставленный нервно зевающей сестрой.

Иными словами, донельзя искусственная голосовая субстанция героя-либерала связана с кажущейся алогичностью и безосновностью сестринского вопроса напрямую. Возможно, не будет преувеличением утверждать, что связь эта заключается даже не в феноменальной рассогласованности «мышинной возни» оживших артефактов, заменяющих собой живых людей, с одной стороны, и стремления понять практическую, живую сущность морали как таковой – с другой. Речь идёт о чём-то большем, нежели о назревающем конфликте безнадёжного теоретика с привыкшим постоянно чувствовать земную твердь

практиком. В спор исподволь вступают не различные амплуа героев, не их темпераменты, не явно отличающиеся судьбы и объёмы накопленного опыта, нет. Подлинным предметом зарождающегося раздора выступает идеологическая инверсия, действительным камнем преткновения становится отношение к идеологической инверсии.

Славой Жижек в «Возвышенном объекте идеологии» говорит об идеологической маске *suī generis*, выполняющей двойную функцию в существовании субъектцентрированного разума. Прежде всего, она скрывает действительный облик субъекта, заменяя его произведённой предметностью так, что теряется всякий смысл процедуры установления авторства. В результате из поля зрения ускользает необходимость идентифицировать человека с чем-то иным, кроме множества текстов, быстро увеличивающееся количество которых уже в хронологических пределах индустриального общества создаёт среду обитания, просторную настолько, чтобы индивид, не испытывая недостатка в собственной мобильности, даже не имел потребности совершить трансцензус в стремлении убедиться: а что же всё-таки происходит за пределами, очерчивающими самодовлеющий мир артефактов? Напоминающее высмеянное Фихте пустое тождество субъекта с самим собой, положение человека здесь таково, что с течением некоторого времени он утрачивает социальное качество, некогда позволявшее ему видеть разницу, существующую между искусственным и естественным вообще. Идеологическое искажение незаметно оказывается «вписанным в самую суть... положения вещей» [2, с. 37]; в итоге остаётся лишь один шаг до признания обстоятельства, заключающегося в том, что действительность как таковая не может существовать без «идеологической мистификации» [2, с. 37], а её ближайшим следствием становится «идеологический фантазм» [2, с. 37] как превращение неосознаваемой фетишистской иллюзии в основу практической жизни. Иначе говоря, самоосуществление субъекта перестаёт быть собственно практическим, так как стремление к присвоению объектной действительности оказывается подменённым чистой интенцией, чистой процессуальностью, в то время как сам предмет, уже ставший недостижимым, приобретает статус смутного пустого телоса. Отныне он – симулякр, и, следовательно, Владимир Семёныч Лядовский получает возможность говорить, читать и писать о крестьянской жизни, получая неосознаваемое наслаждение от её совершенного незнания и непонимания. Именно безотчётный характер наслаждения делает его прибавочным, избыточным: получив однажды «свободу» от объекта, индивидуальная субъективность обретает не подвергаемое сомнению право *ничем* не ограниченных высказываний об объекте, нимало не смущаясь его фактическим коллапсом. Лишь теперь мы получаем возможность обнаружить обратную сторону идеологического фантазма, именуемую Жижеком идеологическим симптомом, являющимся закодированным, зашифрованным сообщением о получаемом наслаждении. Разглагольствования Лядовского, выполняющие в рассказе функцию рефрена, служат блестящим примером идеологического симптома. «Вечные идеи», «борьба», «добро», «зло», «безнравственность» и тому подобное, о чём неустанно хлопочет Владимир Семёныч, оказываются нечем иным, как взбесившимся эмансипированным означающим, абсолютно равнодушным по отношению к означаемому. Сложность этого *status quo*

даже не в том, что так называемый объективный мир герою попросту неинтересен, дело и не в том, что этот мир для него останется недоступным всегда, загорись он вдруг обыкновенным любопытством, но в том, что, фактически ничего не понимая в том, о чём говорит, он стережёт свой симптом как величайшую тайну для самого себя, тщательно оберегаясь от малейшей возможности демистификации собственной сущности. Вот почему он так волнуется, а затем и раздражается, оказавшись перед необходимостью объяснить сестре, что же это такое – непротивление злу силою.

Фантазм и симптом находят своё законченное единство в так называемом идеологическом синтоме. Для его характеристики Жижек употребляет понятие «synthetic person», обозначающее конечный индивидуальный продукт, в котором абстрактный знак, заслоняющий от человека объективный мир, скрывает затем человека от него самого. Модерная символическая жизнь, не говоря уже о постмодерной, отличается помимо прочего от премодерной уже тем, что символизируемый объект редуцирован к плоскости значений повседневности, в которой отсутствует подразумеваемый и ожидаемый высокий смысл, отчего и возникает чувство разочарования в тех громких словах, которыми перенасыщена речь Владимира Семёныча. Лядовский, если воспользоваться выражением Ж. Делёза, представляет собой «животное, живущее на поверхности», он искусствен настолько, что поиски истины, какой она пребывает сама по себе, для него мучительны и непосильны, поскольку истина никогда не сможет стать для него источником наслаждения и поскольку он никогда по-настоящему не задумывается о ней. Перманентно пребывая в замкнутом круге символической жизни и не помышляя из него выйти, он, естественно, нуждается в истине меньше всего. Искренняя вера в самодостаточность интеллектуального самопожертвования, в качестве какового он охотно и с огромным удовольствием воспринимает пустячную суету журнального критицизма, приводит к утрате способности различать действительную цель какого-либо совершаемого действия, что, в свою очередь, необратимо подрывает интеллектуальную природу самого этого действия, превращающегося, как следствие, в игру, играющую в саму себя. Самоизоляция индивида от практического целеполагания – вот, в конечном счёте, неиссякаемый источник прибавочного наслаждения, к которому припал Владимир Семёныч, не подозревающий, сколь распространённым и сколь негероическим окажется много времени спустя социальный тип «синтетической» личности.

Иное дело – сестра Вера Семёновна. Насильственное действие монополии кода ей неведомо, её свобода фундирована сохранившейся способностью ставить практические цели, хотя в самом начале дискуссии с братом, приведшей к грустным последствиям, вопрос о непротивлении злу силою выглядит весьма отвлечённым. Получив от Владимира Семёныча «логическое определение», состоящее в том, что «непротивление злу выражает безучастное отношение ко всему, что в сфере нравственного именуется злом», она продолжает размышлять. «Я всё думаю: что мы изображали бы из себя, если бы жизнь человеческая была построена на началах непротивления злу?» Выслушав категорический ответ брата, полностью отрицающий сам обсуждаемый принцип на том основании, что его реализация развязала бы «преступной воле» руки и привела

к исчезновению цивилизации, Вера Семёновна, апеллируя к «Соборянам» Лескова, взыскательно присматривается к своеобразной уравнильной этике непротивленцев, оставляющих право на существование как тем, кто честно живёт трудами рук своих, так и тем, чья злая воля предпочитает пользоваться результатами чужих трудов. Получает она от брата и на сей раз негодующую отповедь, о смысле которой нетрудно догадаться. Своеобразие этого возобновляющегося ежедневно диалога определяет сам Чехов: «Если бы посторонний человек подслушал их, то едва ли бы понял, чего хочет один и чего хочет другая». Перед нами – типичнейшая, уже хорошо знакомая ситуация, в которой говорящий «ясно и определённо» не в состоянии понять говорящего «неясно», и наоборот. То, что сестра каждый раз становится инициатором спора и при этом не обнаруживает до поры признаков уразумения поставленной проблемы, свидетельствует о беспокойной душе, интересующейся, собственно, даже не теоретическим решением *per se* (коим охотно и быстро удовлетворяется Владимир Семёныч), но необходимостью понять причину внезапно возникших тяжких подозрений относительно умонастроений человека, ещё совсем недавно не вызывавшего ничего, кроме родственной теплоты и безграничного доверия. Что-то отныне мешает ей безмятежно ощущать казавшееся прежде незыблемым родство душ. И первое же вопрошание Веры Семёновны, как читатель догадывается впоследствии, уже содержит в зашифрованном Чеховым виде суть её вначале ясно не осознаваемых претензий к брату. «Синтетический» человек есть зло уже потому, что он вполне удовлетворён отражённым светом текста. Это – первое. И – главное: уместен ли принцип непротивления в качестве этической основы отношения к носителю идеологического синтома? Можем ли, должны ли мы признавать его право на существование и, следовательно, не противиться равнодушию говорящего «ясно и определённо» «синтетического» человека? Это – второе. И, наконец, как быть, если сосуществование с ним, да ещё и под одной крышей, делается невыносимым? Такова кульминация повествования.

Сложность структуры кульминации усугубляется тем, что Владимир Семёныч не совершает никакого зла, он мил, уступчив, склонен к компромиссу, не слишком злопамятен, отходчив, способен к сочувствию, не чурается помочь ближнему. И всё же, чем дольше живёт Вера Семёновна в квартире брата, тем более нетерпимой становится. На первых порах неприятие выражается в сравнительно мягкой по тону критике: «Да, Володя, все эти дни я думала, долго, мучительно думала и убедилась: ты безнадежный обскурант и рутинёр. Ну, спроси себя, что может дать тебе твоя усердная и добросовестная работа? Скажи: что? Ведь из этого старого хлама, в котором ты роешься, давно уже извлекли всё, что можно было извлечь. Как ни толки воду в ступе, как ни разлагай её, а больше того, что уже сказано химиками, не скажешь...» Искренне возмущаясь, брат апеллирует к «вечным идеям», а затем, вне дома, обиженно сетует повествователю, пеняя на мировоззренческую ограниченность образования, даваемого на медицинском факультете. В последующих своих замечаниях Вера Семёновна отчётливо пытается нащупать умозрительный выход из тупика вторичного текста, призывая не то брата, не то «мыслящих людей» вообще «посвятить себя решению больших задач», поскольку только масштаб

целей способен и оградить от мелкотемья, и помочь решить сопутствующие вопросы «побочным путём». И хотя дискурс сестры, успевшей перейти от туманных вопрошаний к некому подобию конструктивной программы, до поры по-прежнему не выходит за рамки интеллигентского, в нём, тем не менее, уже появляется одно ключевое слово, предвещающее неминуемый выход на операциональный уровень действия. Впервые осознанно употребив слово «цель», Вера Семёновна сразу же, мгновенно вынуждена говорить и о *масштабе* целеполагающей деятельности. Именно вопрос о масштабе целеполагания даёт ей после долгих сомнений возможность придти к развязке конфликта с «синтетическим» братом, а вместе с тем, и предуготовить развязку повествования. Для начала она отказывается от прислуги и выполняет черновую работу по дому сама, не обращая внимания на язвительные ремарки брата. При этом «лицо её принимало холодное, сухое выражение, какое бывает у людей односторонних, сильно верующих...» Подобное применение провозглашённой необходимости преследовать лишь масштабные цели может показаться странным, однако кажимость быстро снимается в фактически протестном и самоутверждающемся бегстве из плена обычной для «родной» социальной среды атмосферы прибавочного наслаждения. Убираясь в доме, вынося мусор, чистя полусапожки и платье, Вера Семёновна вступает на путь усвоения истины, несовместимой с гедонизмом, насквозь пропитавшим знаковую реальность, отданную на откуп самой себе. Другими словами, открываемая ею истина – в том, что истина не есть наслаждение в той избыточной его разновидности, которая воспроизводится инверсивным соотношением текста и объекта. Жертвуя привычным бытовым комфортом, Вера Семёновна усваивает первый урок своего нового опыта, состоящий в том, что лишь действие способно детерминировать масштаб помыслов, всей системы целеполагания индивидного субъекта. Anstoss Веры Семёновны полагает конец инверсии, вещи и слова заняли, наконец, свои собственные места, и одно-единственное, важнейшее, условие, позволяющее сообщить какой бы то ни было масштаб ставящейся цели, оказывается выполненным. Перейдя Рубикон, отделяющий текст от объекта, и отправившись в дорогу, ведущую к полузабытому объекту, окончившая медицинский факультет сестра Лядовского снимает проблему нехватки Другого тем, что делает его целью своего жертвенного Anstoss`а.

Внезапно появившись в комнате Владимира Семёныча, одетая по-дорожному молчаливая женщина, собравшаяся ехать в N-скую губернию прививать оспу, на прощание целует брата в лоб и, почти не отвечая на его удивлённые возгласы, не прибегая к помощи извозчика, уходит, ни разу не оглянувшись. Ни рыжий ватерпруф, ни ленивая походка не возбуждают в Лядовском ни сочувствия, ни жалости, ни раскаяния. Моментально забыв о сестре, Владимир Семёныч устремляется к письменному столу, чтобы приняться за очередной фельетон. Спустя некоторое время повествователь узнаёт о его внезапной безвременной кончине и сообщает о его заброшенной, почти сравнявшейся с землёй, всеми забытой могиле на Ваганьковском кладбище. Что же касается дальнейшей судьбы Веры Семёновны, то она остаётся неизвестной.

Summary

A.B. Lebedev. The Problem of Lack of “The Other” in Chekhov’s Poetics.

Slavoj Zizek’s “synthetic person” concept is used as a methodological key for analysis of Chekhov’s story representing postmodern transformations in Russian society at the very beginning of 20th century.

Key words: synthetic person, Chekhov’s poetics, lack of “The Other”, ideological phantasm.

Литература

1. *Чехов А.П.* Собр. соч. Т. 4. – М.: Худож. лит., 1955.– 639 с.
2. *Жижек С.* Возвышенный объект идеологии. – М.: Худож. журн., 1999. – 236 с.

Поступила в редакцию
02.09.08

Лебедев Алексей Борисович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии и культурологии Казанского государственного университета.

E-mail: *Lebedev-Alexei@yandex.ru*